

18+

ТАТЬЯНА БРЕХОВА



К ДОМУ РЫБЫ

Проза

Татьяна Брехова

К дому рыбы. Проза

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63988666

ISBN 9785005324375

Аннотация

Сборник ранее опубликованных произведений. «Память прокладывает долгий путь к осознанию тяжести вины. Это бесконечный разговор с совестью, попытка честно посмотреть в любимые глаза, это всегда мокрые ноги, сырая одежда и бездомность. И этой дорогой – символов или простых слов – лучше идти до конца, до того момента, пока ветер не сорвет с дерева твой последний немощный лист» («К дому рыбы»). Книга иллюстрирована рисунками Розы Строковой.

Содержание

«А ПРО ВАС ТУТ НЕ НАПИСАНО!»	5
ПЕЛЬМЕНИ	16
К ДОМУ РЫБЫ	44
Конец ознакомительного фрагмента.	53

К дому рыбы

Проза

Татьяна Брехова

Иллюстратор Роза Строкова

Редактор Лидия Капуцына

© Татьяна Брехова, 2021

© Роза Строкова, иллюстрации, 2021

ISBN 978-5-0053-2437-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«А ПРО ВАС ТУТ НЕ НАПИСАНО!»

Новелла

Ничего не поделаешь, – возразил Чеширский Кот. —
Все мы здесь не в своем уме – и ты, и я.

Л. Кэрролл.

– Как я и думала, зарезали!

– Хорошо хоть не завернули, – сомнамбулическим голо-
сом ответил редактор отдела и даже не повернул головы, ко-
гда я вошла в кабинет. Пальцами правой руки он сосредото-
ченно давил на клавиши печатной машинки, – шуму на всю
редакцию! – а пальцы левой обсасывал во рту. Компьютером
мой начальник не пользовался, потому что один глаз у него
нездоров.

– Что, сильно зарезали? – безучастно спросил он, прищу-
рив больной бесцветный глаз.

– Не совсем. Пару абзацев.

Журналисты говорят «режут», когда отсекают живую
плоть выстраданного текста, а это почти всегда больно.
Но любой сотрудник газеты скажет вам, что гораздо хуже,
когда «заворачивают». То есть легким жестом выкидывают
материал в мусорную корзину.

Да Бог с ней, с этой статьей. Не в первый и не в последний раз меня режут. С молодыми бывает и хуже. Сегодня в свежем номере вышла моя корреспонденция о международном биеннале графики. А недавно биробиджанские художники привезли толстый цветной каталог с работами мастеров биеннале. Наши живописцы и графики ахнули: да-а уж! Солидно! Те, кто отказался от участия в конкурсном отборе, пожалели – престижа ради стоило рискнуть. Смелых счастливиц оказалось трое: Валентин Овечкин, его добрый приятель Валерий Отаркин и моя подруга Роза.

Роза – дочь солнечной Киргизии и замечательный, самобытный график: рисует тушью по бумаге. Перо в руке Розы, словно чайка, – полет его легок и уверен. Кто-то сравнивает ее черно-белую графику с иллюстрациями Обри Бердслея, другие видят в ней вторую Надю Рушеву. Я же знаю, что для творческого человека нет ничего хуже бестактных сопоставлений. Что касается Овечкина и Отаркина, то их традиционные пейзажи с городскими достопримечательностями я до сих пор путаю, хотя один работает акварелью, второй – маслом.

– Ты как хочешь, а я пойду обедать.

Редактор оторвал глаз от машинки. Медленно открыл второй. Потянул шею, дернул плечом – старый остеохондроз, болезнь интеллигенции! – вытащил пальцы изо рта, что-то сплюнул на пол. Откинулся на спинку стула, скрестил руки на животе.

– Да ты в своем уме? – как можно строже спросил он и с прищуром забегал глазом по мне.

Я знаю, о чем он сейчас думает: «И куда она вечно уходит до обеда?»

– Газетный день только начался, а тебе уж и писать не о чем? Фотки есть к материалам?..

И – безучастно, с жестом снисхождения:

– Ну иди, – сказал и вернулся к своим печатным буквам.

Мы обедали, когда Роза начала вспоминать историю из врачебной практики ее мамы-невролога:

– Ну, помните, я рассказывала, в районной больнице работал главврач, тронутый на чистоте...

Роза поставила на стол тарелки с дымящимся бешбармаком из жирной баранины. Только голодный человек способен с поэтическим воодушевлением говорить о еде. «Дух баранины подобен теплу семейного очага и томит душу, как жаркий полдень в Киргизии», – сказал бы такой человек.

Мы с Игорем, мужем Розы, и ее дочкой Вероникой пили бульон из пиал, а она все сокрушалась: по вкусу мясо дальневосточной овцы не так ароматно, как азиатское. В нем вся прелесть в курдючном сале, которое киргизы и узбеки обязательно добавляют в блюда традиционной кухни. Разговор о курдюке и напомнил ту пикантную историю с главврачом.

Медленно, жестом сытого человека, поддевая длинную

лапшу вилкой, Роза продолжила:

– Тань, знаешь, есть такие узбеки – киргизы, не знаю, или узбеки? – которые умеют красиво подать себя. Вот этот главврач всегда ходил в накрахмаленном, – она зажмурилась, – белом-белом халате! Маленький такой, аккуратненький. А за ним бежит толпа врачей, благоговейная свита! И все боялись: не дай Бог где в отделениях грязь! Сразу: «Убрать, почистить!..» – командовал, как Наполеон на параде. И вот привезли деда.... А как деды в Киргизии ходят? Игорь, как деды в Киргизии одеваются? У них штаны с низкой мотней для сквознячка в интимных местах. И всё на завязочках, на шнурочках. Пока дед эти шнурочки развя-ажет... – Роза вздохнула. – Всю жизнь на земле, на хозяйстве. Когда тут мыться? А родственники больных приносили им, ну, кто что – кто молоко козье, кто фрукты – все деревенское, свежее, домашнее. А жена деда нашла под курочкой три яйца, – грязные! – и какие были, такие и положила на больничную тумбочку.

Утром обход. Врач зашел в палату, следом свита. «Пыль убрать! Полы протереть!» – и тут этот чистюля заметил деда. Все напряглись. «Яйца помыть!» – и ушел. Медсестра со вздохом достала тазик, мыло... Дед испугался: шнурочки развязывает, руки трясутся, а сам причитает: «Мо-ожет, не на-ада?» А медсестра в ответ бурчит: «Врач сказал – надо!..»

На другой день на обходе главный снова к деду подошел.

Уже с пристрастием: «Яйца помыть!» Медсестра – за тазиком, дед сияет, шнурочки развязывает... Надо же, думает, на старости лет такая забота!

Тря дня яйца намыливали. Когда разобрались, в чем дело, очень смеялись.

– А что дальше было с этим дедушкой?

– Не знаю, Вероничка, – ответила Роза. – Вы только представьте руки этой бабки. Вот принесла она яйца... Игорь, какие у нее руки?..

Роза задумалась. Мы тоже.

– А платочек? Помните, были советские такие, большие платочки в клетку. Достала его бабка откуда-то, мятый, немытый... Разгладила руками...

Только мы начали фантазировать, как Роза сменила тему.

– Игорь, собака пришла. Собака-бабака!

А собака никуда и не уходила. Рыжий кокер-спаниель Дик лежал у ног Игоря и только сейчас показал из-под стола сонную морду.

– Собака-бабака пришла!!

После обеда Роза проводила мужа на работу и прежде чем устроиться с нами у телевизора, успела пробежать глазами газетный материал о Биеннале. Вероника достала с книжной полки старую видеозапись с «Алисой в стране чудес». Не отрываясь от газетного листа, Роза пыталась возражать:

– Может, не будем?

И голосом выпившего человека добавила:

– Бум не бум? После бешбармака точно уснем. «Ху а ю!» – и начнем храпеть.

Диснеевский мультфильм «Алиса в стране чудес», вероятно, сделан флегматиками, имеющими особо изощренный вкус к детализации. Примерно так же в «Диснее» поставили «Белоснежку»: пока семь гномов помогают руки... Так и хочется дать им небольшого пинка! Вот и Алиса долго охает, ахает, вежливо болтает с каждым встречным ей жителем Страны чудес... Мы ни разу не могли досмотреть этот фильм до конца.

Дик положил сонную морду на мой тапочек. Мы молча наблюдали, как Алиса долго плутала в кустах и цветах, пока не заметила гриб – большой, почти с нее ростом. Она заглянула за него, под него, обошла со всех сторон. И, наконец, догадалась посмотреть, нет ли чего на шляпке гриба? Алиса поднялась на цыпочки и увидела большую Синюю Гусеницу. Глаза ее были огромные, бесцветные и напоминали кого-то... Гусеницу, казалось, мучили спинные боли. Но печатной машинки у нее не было. Она сидела, скрестив руки на груди, и курила кальян. Сейчас, казалось, Гусеница, выпустит кольца дыма и скажет тихо, как сомнамбула: «Какая разница?.. Зарезали... не зарезали? Завернули... не завернули...».

Мы замерли.

– Сейчас, сейчас... – тихо предупредила Роза, лежа на диване. – Смотрите, девки, не усните...

Алиса и гусеница долго молчали. Они бестактно разглядывали друг друга. Наконец гусеница вынула кальян изо рта и медленно, полусонным голосом, заговорила:

– Ху-у... а... ю-у?

– Ты... кто... такая? – гнусаво добавил переводчик.

И – уже от имени Алисы:

– Сейчас, право, не знаю, мадам. Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась...

– Да ты в своем уме? – удивилась гусеница.

– Смотрите, девки, смотрите...

– Не знаю, – ответила Алиса, – должно быть, в чужом...

Пауза. Гусеница забыла о печатной машинке, то есть о кальяне. Она вытягивала губы, пускала кольца и с любопытством смотрела на Алису: «И куда она ходит после обеда?».

– Ху... а... ю? – прямо, без наводящих вопросов снова спросила гусеница. Во рту она медленно посасывала пальцы и сплевывала на пол. – Когда я что-то говорю, ты записывай, записывай...

Кольца дыма парили под потолком кабинета.

– Про деда с яйцами запиши... Я что, зря рассказываю-у?!

Нас разбудил телефонный звонок. Роза взяла трубку.

– Да-а... А-а, Валентин Иванович? Здравствуйте. Как ваше здор... Читали? И мы читали. Вот Танюха сейчас у нас...

Что? Что?.. – Роза тревожно посмотрела на меня. Я почувствовала, как в сытый желудок к бешбармаку опустилось что-то ледяное. Дик слез с тапочка. – Да ну... Как так? Про вас не написано? Я вам сейчас Таню дам.

Я ухватилась за трубку и слышу:

– Татьяна Сергеевна, ну вы меня опозорили... – голос Овечкина дрожал. – Дома читал. Жене дал посмотреть. Отаркин читал. В школе дети читали. В Хабаровск поехал руководству союза художников показать. А там читают и говорят: «А про вас тут не написано!».

– Как же не написано, Валентин Иванович, я же лично с вами встречалась...

– Встречались, писали... А что вышло? Про мои пейзажи сказали как про пейзажи Отаркина... Вот, мол, художник Отаркин и прочее... Я и сам не понял.

Он помолчал и совсем отчаянно добавил:

– И как вы слушаете? И пишете как? Не знаю, жаловаться на вас, что ли... И перед людьми стыдно.

Сказал и бросил трубку. Первая моя реакция – бежать в редакцию каяться. Вторая – хватать газету и искать ошибку. И вот что я прочла: «В Санкт-Петербурге прошло биеннале графики... В ней приняли участие художники... Овечкин (вот он!) и... Отаркин». Ну? Где ошибка? Читаю дальше. А дальше все, что было сказано об акварелях Овечкина, было отнесено не к нему, а к живописцу Валерию Отаркину, которому и без того досталось почти два абзаца текста! Фа-

милия «Овечкин» была нечаянно, из-за моей невнимательности, заменена «Отаркиным», но имя, словно осколок зуба, имя Валентин и акварели этого художника в тексте остались!

Роза долго любовалась моей расстроенной физиономией, а затем начала медленно заваливаться на бок от тихого, почти беззвучного, из уважения к моим переживаниям, смеха.

– Ты только представь! Писала ты. Выправляла. Читала я. Читал сам Овечкин, потом принес жене. Его ученики, коллеги видели заметку...

Роза говорила, я все отчетливее начинала представлять, какую импульсивную и серьезную жизнь – жизнь, похожую на светские будни Носа майора Ковалева, – ведет газетный листок, пока сотрудник редакции беспечно обедает в приятной компании и смотрит диснеевские мультики.

– ... затем он поехал в Хабаровск, чтобы показать статью в Союзе художников, – продолжала Роза. – Все-таки международное биеннале! «Манеж», одним словом! Ехал в автобусе три часа. И – спорим! – снова рассматривал газету. И только там, только в Хабаровске люди со свежим взглядом обратили внимание, что о нем почти не написано!

Да-а уж! Писала я материал... Потом передала его, как полагается, редактору отдела. Тот перестал мучить пишущую машинку и вгрызся в текст. Поправил все, что мог. Нашел две тавтологии, в одном предложении убрал инверсию. Отнес заместителю главного редактора, человеку опытному и дотошному во всем, что касается профессиональной ответ-

ственности. Затем ошибки искали два корректора и отнесли вычитанный текст на верстку. И напоследок всю газету внимательно смотрели главный редактор и «свежая голова».

И никто, никто не заметил разницы между уважаемыми в нашем городке талантливыми людьми – акварелистом Валентином Овечкиным и живописцем Валерием Отаркиным.

Роза вышла в подъезд проводить меня. В словах утешения не было пользы, и мы молчали. Из-за приоткрытой двери печальными глазами смотрела на нас не гулявшая собака-бабака. Одна из пуговиц на шерстяной кофте подруги висела на тонкой ниточке. Роза оторвала ее и кинула в лестничный пролет.

– Слышала?

– Чего?

– Ты не слышала, как она ударилась об пол?!

Роза с укоризной посмотрела на меня. Оторвала от кофты вторую пуговицу и с силой, аккуратно целясь в середину пролета, бросила ее. Мы замерли, прислушиваясь.

– Теперь?

– Ага! – сердце мое забилося. Тонкое-тонкое эхо парило в сыроватом воздухе. – Давай еще!

Роза оторвала последнюю пуговицу.

– Теперь я! – мне тоже хотелось попасть точно в пролет.

Но Роза только смеялась:

– Нетушки!

– Почему?!

– Я старше на десять лет!

Мы приготовились, задержав дыхание: пуговица красиво и, как нам показалось, медленно полетела в пролет.

И снова мы слушали эхо.

В этот момент мы были похожи на гурманов, которые в душистом аромате мясного соуса смакуют тонкий привкус базилика и чернослива.

Роза осталась без пуговиц. Мне же пора было домой.

*Ни разу больше я не слышала претензий к моей ошибке.
А Валентин Овечкин не стал жаловаться в редакцию.*

ПЕЛЬМЕНИ

Очерк об одном семейном застолье

После вопроса, есть ли в доме пшеничная мука, следует другой, пристрастный:

– А хватит ли сала свиного? Или обойтись варениками?

– Ну уж нет!

– Вареники не нравятся? – слышится сверху. – А чем плохи мои вареники? – Дверцы навесного шкафа загудели металлически, и мама, наконец закрыв их, осторожно, придерживая полы халата, спрыгивает с табуретки. Запястьем поправляет очки. – На пельмени муки маловато...

– Сало нашел! Я же говорил, девки, там кусок должен остаться.

Из холодильника потянуло зимой. Мама будто и не слышит папиной реплики и медленно собирает по полу тающие льдинки, выпавшие из морозильной камеры.

– Отойди, Века. И не вертите, мадам, попой!

Мама разгибает спину, чтобы уступить место, но все-таки родители сталкиваются в кухонной тесноте между холодильником и раковиной, и мама протяжно пищит, как от щекотки, на всякий случай зажмурившись:

– А-а!

Папа довольно подмигивает мне и трусит к раковине за-

дом, напирая на маму. А затем, совсем уж в задоре, кидает мороженое сало на стол и начинает вытанцовывать твист по-моргуновски.

– Ну отойди, говорю! – писк постепенно перерастает в визг.

– Сначала вы тушите одну папиросу...

Папа прижимает маму к раковине, и она поневоле утыкается носом в висящее на крючке полотенце. Пробует, от удовольствия прикусив нижнюю губу, поднять колено для пинка, но папа атакует сильнее.

– ...а потом другую...

– Я тоже буду пельмени лепить!

– Я твои пёрья нежно поглажу рукою..., – запекает папа. –

А кто сказал, что будут пельмени?

– Мама, давай пельмени!

– «Ну-у ма-ама, дава-ай пельме-ени!» – папа произносит эту фразу низко и гормонально, с капризной интонацией.

– Я не так говорю. Это Наташка так говорит. Я хочу пельмени!

– Отец, иди за мукой.

– А почему я? Вон Танька пусть сходит! Пробздится хоть! Ты на улице когда последний раз была? – папа на всякий случай подтянул на голый живот трико, перестав подтанцовывать.

– Не «Танька», а «Таня»! – поправляет мама.

– Пусть Наташка идет! Я долго буду одеваться!

– Наташка!!

– Ладно, сам схожу за харчами. Вас, девок, ждать – с голоду помрешь.

И идет надевать рубашку.

Мясорубка скрипит, чмокает, как нагруженная телега, меля куски говядины и свиного сала с луком и чесноком.

– Отец сам посолит. На глаз, – мама, поджав от усердия губы, быстро перемешивает фарш руками.

Я жадно вдыхаю в себя запах мяса и лука.

Моя воля – ела б фарш ложкой с хлебом. Я почти утыкаюсь в тарелку носом.

– Перестань.

Раздается дверной звонок. Папа звонит, как бьют в колокола, – радостно, залпом. Это повелось еще со времен полигонов: папа ездил на стрельбища и, когда возвращался, для оповещения применял свой «фирменный», как говорит мама, стук или звон. Я иду открывать и забираю пакет с мукой.

А потом солят и перчат фарш. Слегка выпятив живот, папа бросает в тарелку щепоть за щепотью. В его точном жесте есть что-то от благословения. При этом всегда помалкивают – боимся пересола.

– Девки, сначала – перекур!

В детской комнате на полу лежит острый клинок солнца. Сестра сидит за столом и делает вид, что возится с уроками, а я ложусь на кровать с книгой. Нам, старшеклассницам, го-

ворить почему-то не о чем, а мне как старшей особенно.

Тут в самое острое клинка, из-за шифоньера, заслоняющего дверь, крадется папа. Сначала появляется его голова, а потом и он сам. В глазах бегают веселые огоньки – значит, началась игра! К нам крадется хитрый лис, и мы, глупые куры, вот-вот начнем кудахтать и сжиматься, боясь папиной щекотки. Но мы с Наташкой держим паузу, с трудом пряча улыбки.

Папа стоит у стола и вдруг, почему-то забыв, что он хитрый лис, начинает бить чечетку, пока с ног не слетают тапки.

– Чё гузки прижали? А, девки?

– Я щекотки боюсь, – не выдержав, шепчет сестра, почти не разжимая губ. Ей становится совсем смешно.

– Щ-щикотки! – папа поворачивается к ней, растопырив руки.

– Нет, ще-котки. А-а, только не щекоти!

– А чё делаешь-то? – папа заглядывает в Наташкины «уроки». – Журналы опять разрисовываешь? Изукрашиваешь, значит?

Сестра закрывает рукой лица манекенщиц из старой «Крестьянки».

– А ты чё делаешь? – это уже ко мне. – «Гаргантюа и Пантагрюэль»? В школе задавали? Нет? Чита-ал. Ну и книжка!

– Ага, сам прочел оба тома – залпом.

Я смеюсь, вспомнив, как папа читал Рабле.

– Да просто взять было нечего. Ты лучше «Москва и моск-

вичи» почитай! У-у! Такая вещь, я тебе скажу... А чего гузки прижали? Девки, идите помогать матери. Кто пельмени лепить будет?

На кухонном столе с бледно-голубой столешницей, изрезанной ножом, под целлофаном томится большой колобок. Мама убирает катышки лишнего теста, насыпает рядом свежую муку.

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел... Когда-то от моей бабушки Лиды должен был уйти колобок. Но он так и скис на горячем от летнего солнца подоконнике. Его вылепили специально для меня в пельменной столовой, где несколько лет работала моя бабушка. Никто, кроме меня, не верил, что колобок живой и укатится восвояси.

– Я буду катать.

Иду мыть руки в ванной. А там – воды нет! Папа стоит рядом, глядя на пыхтящий воздухом кран, и задумчиво чешет голову.

– А ну-ка, полей! Из чайника!

В чайнике воды мало, и я, скупясь, медленно лью на руки папы. Их тыльная сторона всегда сухая, и даже вода, кажется, не промокает папиных рук по-настоящему – струйки впитываются в кожу бесследно, словно в песок.

– Лей! Еще.

– А мы с уксусом пельмени есть будем?

– С уксусом.

– С «суксуком»! – из кухни поправляет мама.

– А я как сказал?

– Ты – не так.

«Суксук» – мое слово, и мама бережет его, как и многое из нашего детства, в памяти и в записях на страницах старого фотоальбома. Пельмени с уксусом мы с Наташкой ели даже маленькими – в слабой консистенции, под чутким и ревнивым контролем мамы. Считалось, что он помогает переваривать «тяжелое» вареное тесто.

– А может, с майонезом? – предлагает мама.

– Нет!!

Майонез – это чуждое, никак не связанное с нашим представлением о пельменях, а лишь только – с маминым еще советским «Провансалем», жидким, кислым, серого цвета, но почему-то замечательным в «Оливье». То же ревнивое отношение – и к сливочному маслу: оно ослабляет пельменный вкус и насыщает слишком быстро, не давая насладиться трапезой в полной мере.

– Ну, с суксуком, так с суксуком...

Мама берет неглубокое блюдо и кладет в него немного фарша.

– У-у, какой аромат! Слюнки текут!

Глубоко вдохнув его запах несколько раз, она задумывается, прищулив один глаз и плотно сжав губы; внимательно смотрит на потолок, скорее, по привычке, так как люстра днем не горит; высоко поднимает брови, затем аккурат-

но ставит тарелку на стол, встряхивает головой и, наконец, поймав чих, залпом выпускает его из себя. Так запуливают пробку из бутылки с шампанским.

– Раз... два... три ... – Мама чихает всегда семь раз – ритмично и смачно. Нам остается завидовать и повторять:

– Будь здорова... будь здорова... Бу-удь здоро-ва-а!

Папе я тоже говорю «будь здорова» – по привычке, так как в детстве считала эту фразу одним словом, без указания на мужской или женский род. Папа давно не обижается. Из таких же объединенных мною пожеланий – «спокононочи», «доброутро», «слехким-с-парком» и «мапа».

– Я буду катать.

– Катай. Мать, давай скалку. Дочь будет катать. А мы будем лепить.

– А когда вы разрешите и мне лепить?

– А кто будет со скалкой? Я, что ли? – папа усмехается.

– Мама, давай ты покатаешь.

– У меня спина не выдержит. У тебя, Танюша, хорошие сочни, а пельмени – пока не уме-ешь! Учись!

– Как я буду учиться, если мне не дают...

– Ладно, девки. По местам. Века, мне вилку. Себе вилку.

Для фарша.

– Сережа, нарежь тесто для сочной.

Папа и сам знает. Выпятив живот, не спеша снимает с теста целлофан, отрезает от его бока большой кусок и прини-

мается раскатывать в длинную колбаску. В шершавых руках тесто податливо – не то змея с узкой длинной и болтающейся головой, не то веревка. Раньше я съедала «змеиную голову», но потом стала брезговать – в сыром тесте замешаны яйца. Да и падает оно на дно желудка резиновым мячиком, как ни жуй.

И вот змея разрезана на части. Крупновато. Маме не нравится: сочни, а значит, и пельмени, получатся слишком большие. Я из-за маминой спины – с видом знатока:

– Да уж-ж!

– Не вертите, девки, попой, – папа берет куски теста и окунает их в кучку муки, сжимая с обеих сторон так, чтобы получились ровные кружочки, а потом слегка раздавливает их. Мама помогает ему, а я, предчувствуя азартную гонку, беру скалку и начинаю раскатывать сочни.

Надо успеть до того, как родители рассядутся по местам: папа – возле холодильника, мама – по другую сторону доски с мукой для вылепленных пельменей. Я устраиваюсь ближе к окну – тут у меня больше простора для работы локтями. Надо успеть, пока папа не взял в левую руку первый мой сочень, а в правую – вилку с фаршем и пока мама не начала помогать ему, управившись с подготовкой доски.

Сначала тесто не поддается. Получаются овалы, многогранники, но никак не круги, идеальная форма для будущего пельменя.

– У-у! – папа берет в руки уже третий сочень. – Разучи-

лась, что ли?

Мама старательно, крепко сжав губы, кладет в сочень фарш, отбрасывает вилку и – залепляет края пельменя. Получается идеальная шляпка с узкими полями и тонким узлом.

– Вот как надо. – Пельмень красуется на кончиках ее длинных пальцев. – Ты просто не умеешь. Тебя в детстве не научили. – Это реплика к папе.

– Я? Да я все умею. – шепчет он. – На!

В его крупной ладони пельмень кажется крохотным и тоже красивым, если бы не «шляпное поле». Он всегда лепит не аккуратные мужские «котелки», как мама, а гангстерские шляпы. Я посмеиваюсь.

– Что «на»? Это что? – мама осторожно берет у него пельмень. – Сергей, ты где такие видел? Ты зачем их переворачиваешь, когда залепляешь края?

– Нормальный пель-мень!

Мама кладет его на доску рядом с другими, ею изготовленными «котелками». Там пельмени преображаются: выстроенные в точные ряды, они теперь похожи на солдат и офицеров в белых парадных мундирах. Если пельмень оказывается каким-то иным, пусть даже симпатичным уродцем, он сильно выбивается из общего ряда, словно новобранец, уставший от строевой муштры.

Я продолжаю катать, ритмичным жестом закидывая стол

теперь уже круглыми сочнями. Вылепить бы пару пельмешек, пока папа не примется за очередную «змею».

– Таня, рот прикрой.

– «А»? – передразнивает мама. – Я говорю, когда что-то делаешь, рот закрывать надо.

Она молчит, ловко готовя к строевой муштре очередного новобранца, а потом начинает вспоминать:

– Когда мы с сестрой Леной были маленькие, бабушка – моя бабушка Шура – тоже лепила пельмени с дедом. Ча-ас-то лепили! И всегда крохотные, ро-овненькие. Настоящие уральские пельмени. И откуда у них, стариков, терпения хватало, не знаю. На-ле-пят, бы-ва-ло! Нас позовут... Придешь к ним... Сядем. За столом шумно, весело. Скажешь, баб Шур...

– Я сейчас тоже слеплю.

– Ну, лепи. Только не пукни от старания. И рот прикрой, – папа начинает наблюдать за мной и от предвкушения неудачи сам раскрывает рот.

– Да я... – в сочне оказывается слишком много фарша, – сейчас такой пельмень сделаю...

Шляпа испачкалась мясным соком, и я переворачиваю ее, с трудом залепив края, из которых лезет фарш и кусочек лука.

– На!

На кончиках моих пальцев развалился какой-то хмельной пузатый старикан в штатском. Его короткие, больные по-

дагрой ножки, кажется, вот-вот дернутся.

– Это что? – мама запястьем поправляет съехавшие с носа очки.

– Пельмень, мать! – громко произносит папа и снова становится похожим на хитрого лиса. – Га-га!

– А зачем ты его перевернула? – она брезгливо берет старикана, чтобы как следует рассмотреть его пивное брюшко с ножками. – А края-то какие толстые и грязные! – мама всерьез подавлена. – Такого на доску! Вся в отца. Ну вся!.. В его родню... Бабы Лиды на вас нет. Вот уж она бы выдрала! За такие пельмени у нас на Урале... А как меня драла? Чтобы ровненькие, маленькие получались. Чуть что – как даст скалкой!

Папа вздыхает:

– Я-то думал, пацан родится...

Родители продолжают лепить, а я сижу, уцепившись за скалку и боясь прикоснуться к сочным. Краем глаза замечаю, что мой штатский испортил весь порядок на мучном плацу.

– Думал, на ры-ба-ал-ку ходить со мной будет. В часть, на слу-ужбу. По танкам лазить. Ва-анькой хотели тебя называть в честь отца. Ваню-юшкой... А помнишь это: «Снимите меня отсю-до-ва-а!»?

Папа громко смеется и даже поперхнулся. Закашлялся. Эту историю, как и многие другие, мы всегда вспоминали,

когда садились лепить пельмени. Еще в Чехии, во Френшта-те под Радгоштем, папа иногда брал меня с собой в военную часть – такие дни становились особенно счастливыми. В од-ном из боксов стояло много танков. Папа поднял меня, че-тырехлетнюю, на руки и, видимо, еще не забыв свою отцов-скую мечту о воспитании сына, поставил на одну из машин. В этот момент папу позвали солдаты, он отошел. А вскоре все услышали: «Снимите меня отсю-до-ва-а!».

– Испуга-алась, «тамкист»!

– Конечно, оставил ребенка на танке, а сам ушел! Отец на-зывается. – Маме этот случай представляется не очень смеш-ным.

– Да все не так было.

Я несколько раз за свою жизнь пыталась оправдаться, но никто не верит. И чтобы наконец выслушали, быстро по-ясняю:

– Я не испугалась, а увидела, как на соседнем танке солда-ты открыли люк – это же интересно! – я попросила быстрее снять меня, чтобы залезть на другой танк и заглянуть внутрь. Что там, внутри?

– Это ты сейчас так рассуждаешь. А тогда ты была слиш-ком маленькой... «Тамкист»!

Вот и весь разговор.

Когда мы жили в Бикине, папа тоже водил меня в часть – чаще в праздники, на седьмое ноября или девятое мая. А тут случились будни, и мамы почему-то с самого утра не было

дома, и папа не решился оставить меня, пятилетнюю, одну. Взял с собой в казармы. Я не знала, что такое «казармы», лишь смутно представляла со слов мамы, любившей напоминать своему мужу: «Если бы не я, ты бы до сих пор жил, как в казарме». Но то, что я увидела, мне понравилось: в папиной комнате светло, просторно и очень чисто, постели солдат заправлены идеально гладко. Где-то в общей тишине бормотал телевизор. Папа был слишком занят и завел меня в каптерку, где сидел темноволосый солдатик. Он часто хлюпал большим горбатым носом. «Русланчик, посмотри за ней». – «Не волнуйтесь, Сергей Иванович», – гнусаво отозвался Русланчик и тут же нашелся, чем развлечь ребенка с короткой стрижкой и в вельветовых брюках. Достал несколько фломастеров, явно не советского производства, – ярких и тоненьких.

Я жадно накинулась на них и стала рисовать на бумажке, которую едва успел подсунуть услужливый Русланчик, робота с антеннами и добрыми глазами, как во многих моих тогдашних каракулях. Я прищурилась и откинула голову назад, чтобы внимательнее рассмотреть цветные линии. От удовольствия во рту стало сладко. «Серег, рот прикрой». – «Я не Серег», – роботу не хватало чего-то. – «Серег, давай ты меня тоже нарисуешь». – Я посмотрела на Русланчика, потом на его солдатский ремень. – «Я не Серег, а Таня». – «Хорошо». У робота появился ремень с большой бляшкой. – «А давай, Серег, я сам тебя нарисую?» – «Нет», – я приве-

сила роботу желтую медаль на грудь. У Руслана такой не было. Я сглотнула. «Ну ты молодец, Серега!» – «Я НЕ СЕ-РЕ-ГА!» – «Хорошо, Серега...» – парень совсем растерялся. Он не понимал, почему я сержусь. «Я девочка!» – крикнула я, не отрывая взгляд от робота. Потом вошел папа и увел меня. «Приходи еще, Серега!» – радостно попрощался Русланчик и отдал рисунок.

Я его храню до сих пор.

...Папа снова раскатывает кусок теста.

– Чё улыбаешься-то? Ты катай, катай, не отвлекайся!

– А где Наташка? Наташк! – кричит мама.

– Чё? – сестра бесшумно заходит на кухню и встает возле свободной стены.

– Да ничё. Мы тут лепим. А ты чем занимаешься?

– Я? Ничем.

– Она журналы изукрашивает.

Наташка вскидывает ресницы на папу и смущенно улыбается.

– Ты бы на улицу пошла прогулялась. А?

– Не хочу.

– А пельмени есть будешь?

– Буду.

– Ме-елины тож-же будешь? – папа смеется. – Га- га!

«Мелины» – значит «пельмени». Это Наташино слово.

– Ма-аленькие такие были, – папа ладонью показывает

на полметра от пола, – а уже ме-елины! На четыре части разрезали пельмень. И все: «Суксук, суксук!»

– Да-а! Забавные были! Ой, даже не верится, – вздыхает мама.

– Таня бутылкой из-под пива сочни катала, аж язык высывала! Га, га! Помнишь, на фотографии?

– Помню.

Все вздыхают.

– Века, доску другую давай. И воду на огонь ставь.

И снова, уже вполголоса, сладко, как шаман:

– Ставь, ставь.

Он энергично режет тесто на кусочки, на этот раз маленькие. Мама убирает доску, на которой красуется парад пельменей.

– Не рано?

– Не, нормально. Соли сразу.

– Соли сам. У тебя глаз алмаз, – мама гремит кастрюлями, ища самую широкую.

– Влюбилась что ли? Я те дам... Лаврушки не забудь кинуть. Танька, а ты помнишь, как ты бутылкой рыбу ловила?..

Обычно мы ходили на рыбалку в воскресенье рано утром. Меня брали, потому что я просыпалась и начинала проситься «тож-же», как говорил папа. Мама боялась рыбы, и я хватала пятерней мятущуюся на леске форель, чтобы она не шмыгнула в воду. Или начинала «ловить» на обычную

палку или бутылку. Мне казалось, рыба непременно «споймается»! Папа смеялся. У берега стояла маленькая скамеечка. Она цепляла меня за колготки. В руках кусок теста – корм для рыб, форель любит тесто, пахнущее валерьянкой и подсолнечным маслом. Мама взмахнула удочкой. И вот папино, азартное: «Тяни, тяни! Тяни-и!»». Отодрала себя от скамеечки. Бегу к маме на помощь. Из тумана, оттуда, где кусты, послышался чей-то знакомый голос, наверное, папиного сослуживца: «Ну, Вера Васильевна! Поймала! Вы нам всю рыбалку испортите!».

А как хотелось пить, когда мы шли обратно, с речки мимо площади с ратушей и древнего каменного колодца! Папа сделал несколько снимков «Зенитом». Я позировала как будто неохотно, к тому же мама отчего-то сердилась, а папа, сменив ее у фонтана, примирительно подмигивал. Так и получились: мама в полуобороте с серьезными большими глазами, высокая, худенькая в рубашке и брюках-клевашах, в руках очки; я – в белых колготках и теплой кофте, с палкой, с прищуром от утреннего солнца. А затем – усатый папа в своей рыже-полосатой рубашке с закатанными рукавами. Он казался совсем домашним. Мы не привыкли видеть его в штатском.

Дома родители сложили рыбу в раковину. Снова пахло речкой и валерьянкой. А в душевной, пахнущей постельным бельем комнате тихо-тихо. Шторы задернуты. Сестра, как ни в чем не бывало, спала кверху «баранбаном», раскинув кулачки по подушке. Я залезла на родительский диван с нога-

ми в тапках, поближе к свернутому одеялу. Тепло. Если полежать с закрытыми глазами, то снова увидишь речку, потом дорогу домой и каменный колодец. Говорят, в древности чехи брали из него воду. Леску рвануло. Тяни, тяни-и... Бегу, бегу-у!..

– Так и уснула! Утомилась, Танюшка! – мама крутит в руках очередной пельмешек. – Красавец!

– Эх, числолакия! – вздохнул папа. Если кому из знакомых было не понятно, мама обычно поясняла: «Это Танюшка так в детстве говорила: «Числолакия!». Вместо «Чехословакия».

– Наташк, ты бы хоть спела или сплясала, что ли.

Это папино предложение всегда вызывало у нас недоумение – мы с сестрой никогда не умели ни того, ни другого. – А ты помнишь... Га, га!

Все помнят.

– ...как она тогда навернулась? – у мамы этот Наташкин трюк до сих пор вызывает удивление.

Это случилось уже в Бабстово, за обедом. Надо было достать вилки и ложки и для этого открыть ящик в столе, за которым мы с Наташей сидели. Я рванула за ручку ящика со всей детской силой и локтем задела шестилетнюю сестру. От удара она упала с табуретки, кувыркнулась через голову. Потом сразу встала, подняла табуретку, села обратно к тарелке, и, взяв протянутую мной ложку, сосредоточилась

на супе. И все молча. Никто не успел понять, как это случилось...

– Ты бы хоть заревела, чё ли... Во девка!

И вдруг папа громко начинает тараторить свою любимую, им когда-то сочиненную в поезде песню на частушечный мотив:

Самолет летит,
Мотор работает,
А там Наташка сидит,
Картошку лопает!
Картошка вкусная,
Да рассыпается,
А Наташка сидит да улыбается!

Вообще-то песня была посвящена Наташкиному «баранбану», то есть животу, но она не была согласна, дулась на всех, спорила, и так никогда не решили мы окончательно, кто летел в самолете, – Наташка или Танька.

...А там Танька сидит, картошку лопает!..

– Танька, а ты сейчас чё рисуешь-то? Хоть рассказала бы отцу. А?

Я не знаю, что ответить.

– Таня, расскажи, раз отец просит, – мягко просит мама.

– А помнишь, как ты сам рисовал? – я давно хочу погово-

ритель с ним об этом. – Где твои акварельные рисунки? А помнишь, карандашом?

– Где?.. Не знаю где. Поищи у себя.

Папа не придает особого значения былым увлечениям. От них остались три разделочные деревянные доски с резьбой, с аккуратно выдолбленным рельефным рисунком, подкрашенным цветными карандашами, – папа изображал яблоки, виноград, высокий изящный бокал с надписью «8 марта» и прочее. Доски были подарены маме еще в Чехии и всегда с тех пор, где бы мы ни жили, красовались на месте кухонного «фартука», под навесными шкафами. А рисунки пропали, и в моей памяти остался только один – его сюжет тревожил и мучил меня дурными предчувствиями многие годы.

Этот рисунок папа сделал в Бикине в период моего наивного увлечения роботами. На альбомном листе в духе саврасовских этюдов он набросал простым карандашом церковь с луковичными куполами и высокими крестами, тропинку к храму и на ней – две, похожие на нищих, фигурки. Женщина в длинной простой одежде и с опущенной в платке головой вела за руку маленькую, так же одетую девочку. Шли они к церкви. Получился вид сверху и чуть сбоку, а над всей панорамой, суровой, безвременной, безлесой панорамой, парили черные вороны. Я спросила: «Кто идет по тропинке?» – «Это? Ты с мамой», – чуть улыбаясь, ответил папа. Казалось, вороны закаркали: га, га! – «Мы? Почему мы?!» Казалось, моя рука была в маминой ладони, и полы длинной юбки ме-

шали уставшему шагу. То ли весна, то ли осень. Зябко. И хочется есть. – «Не похоже, что ли?». Колокола звенели призывно, но не радостно. И в маминой легкой руке я чувствовала отчаяние и беспомощность.

В моих рисунках с тех пор исчезли роботы, зато сразу появились длинные тропинки и церкви.

– Так, девки, лепить заканчиваем, перекур!

– Смотри, Сергей, осталось немного теста. Фарш весь вышел! Один в один почти.

– Тогда налепим ушек! – прошу я. – Давайте ушки!

– Ушки так ушки, – соглашается мама и быстро соединяет сочни посередке. – Но что хорошего в пустом тесте, не понимаю.

Папа уходит в ванную, оттуда слышится улюлюканье кра-на, и вода, наконец, полилась. А в умывальнике гремит грязная посуда, на плите гудит большая кастрюля с солью и лавровым листом. На столе красуются две доски с одинаковыми рядами пельменей. В ровную массу офицеров и солдатиков, слепленных родителями, затерлись и несколько моих, – не считая штатского, в основном ленивые, пузатые, в потер-тых кителях прапорщики. И еще на столе – два заполненных по окружности (словно на площади старого Френштата, у са-мой Ратуши собралась воскресная публика) больших блюда, которые потом мама уберет в морозильную камеру.

И вот некоторое время, пока закипает первая порция

пельменей, мы, по выражению папы, нагуливаем аппетит, лежа на прохладных покрывалах кроватей, и думаем о том, насколько сочен фарш и стоит ли есть пельмени с бульоном – так их меньше поместится в желудок, – и не окажутся ли они вообще, по нелепой случайности, разварены до дырок в мундирах... Но последнее быть не может: тесто получилось упругим, но не тугим, и мама с папой хорошо знают, сколько времени требуется для варки каждой порции.

Солнце ушло, оно должно было обогнуть весь пятиэтажный дом, чтобы потом, ближе к вечеру, оказаться здесь, в большом окне нашей гостиной и на кухне.

Хороший аппетит, самый злющий и нетерпеливый, конечно, не чета нашему, комнатному, естественно пришедшему вслед за легким завтраком. Хороший аппетит мы, еще маленькие и с родителями, нагуливали, например, в лесу с бабушкой Лидой. Она всегда шла впереди – легкой игривой походкой, в болоньевом плаще, с тяжелой корзиной, до зависти полной белыми, подберезовиками, сыроежками, иногда груздями. «Черт, черт, поиграй да отдай», – бормотали мы на ходу, а что толку: в усталых глазах сливалось все – и сухой бурый дерн, и гнилые ветки, и листья земляники с черникой, и шапки хитрых грибов, не хотевших, чтобы их нашли. И если попадалась многошляпная грибная семейка, за ее гостеприимство мы платили тем, что дико вопили на весь лес и подрезали всех, кроме самых маленьких. Бабушка, увидев семью первая, учила нас *уважению*: ступала еще тише

обычного, говорила шепотом, наклонялась, не спеша и аккуратно срезала грибы по старшинству, стараясь не нарушить подземный покой грядущего потомства. И у них будут дети, и они станут радоваться лесу, дождю и солнцу!

И мы, нетерпеливая, шумная детвора, притихали от едва уловимого присутствия какой-то тайны, – тайны, которую знали только такие люди, как наша бабушка.

На кухне пахнет сигаретным дымом, лихо ныряющим в раскрытую форточку, но аромат вареных с лавровым листом пельменей ничем нельзя перебить.

– Так-так, сказал бедняк..., – деловито бросает папа и хлопает себя по ляжкам, видимо, приготовившись сплестись в кухонной тесноте.

Мама:

– Ты уксус хорошо разбавил?

– Разба-авил.

– Вилки-ложки доставай.

– Таня, вилки-ложки доставай.

– Кто будет пробовать? – спрашивает мама, не отходя от плиты.

Она достает с сушилки первую тарелку, вылавливает из кастрюли пельмень и медленно ставит блюдо на стол.

– Ну-ка! – папа тянется к маленькому, с беленьким, будто атласным пузом и тонкими ножками – сколько раньше мы спорили, как «залепливать» тесто, чтобы узел был как можно

тоньше! – похожему на раздобревшего генерала пельменю. Пар от него устремляется к форточке.

– Ну-ка, отойди! – я шустро разрезаю пельмень вилкой, внимательно разглядываю плотный узелок и кладу кусочек в рот. Горячий! И сочный! Папа берет вторую половину, точным жестом окунув ее сначала в чашку с разбавленным уксусом, широко открывает рот, запускает туда пельмень и задумчиво, по-лисьи скосив глаза в сторону, начинает медленно жевать. Затем мы деловито киваем головами. Мама ждет только этого жеста.

– Готово, Века! Накладывай!

К пельменям у нас не полагается делать салатов и дополнительных горячих блюд. И вообще никаких супов, закусок, пирогов, кроме иногда квашеной капусты и хлеба, к которым в такие дни тоже никто не прикасается, мы на стол не ставим. Конечно, не экономии ради, а в силу давно укоренившегося кулинарного снобизма: сегодня едим и смакуем только уральские пельмени.

– Таня, зови Наташку.

– Наташа, иди суп хлебать!

– Га, га!

Это обычная шутка: «Суп вчерашний кто будет доедать? Гороховый!». Наташка на шутку не реагирует – привыкла. Папа садится во главе стола, а мама по-прежнему стоит с шумовкой у плиты и раскладывает пельмени по тарелкам.

– Ме-елины! – с чувством произносит папа, глотая пель-

мении один за другим. В чашке с уксусом уже плавают круги от мясного жира.

Я жду, когда за стол сядет мама, иначе ей придется есть одной. «Мечите пореже», – обычно напоминает она и всегда ест не спеша, смакуя. Ее выдержки нам никогда не хватало. К тому же папа считает, что здоровый человек должен есть много, быстро, с ярко выраженным чувством аппетита и получаемого от трапезы наслаждения.

– Ну, числолакия, сколько каждый из вас слопает? Эх, раньше съедали... Сколько я раньше съедал, Века? Сто мог зараз слопать!

– Ну да, сто.

– Ну, пятьдесят.

Мама согласно кивает.

– И один! Налю-опашься-а бывало! От пуза! Во!

Папина тарелка уже пустая. И он смотрит в мамину.

– Бери у меня.

– Да не, – папа облизывает губы, смотрит в окошко и начинает тихо свистеть, помахивая тапком под столом.

– Бери, говорю! Сейчас еще сварятся!

Три пельменя из маминой тарелки исчезают в одно мгновение.

– Ну ты даешь! – не выдерживаю я.

– А ты помнишь, мать, как Танька: хватъ апельсин! И – за мою спину! – папа хитро скашивает глаза, изображая ме-

ня. – Ты маленькая была. Не помнишь. А мать твоя с Наташкой в роддоме лежала. Ее долго не выписывали из-за высокого давления. И вот взял я тебя и пошел к ней – она суча-ала по тебе, страсть! – а ты, дуреха, только до поворота из военного городка выйдем, всё время в штаны обдeldывалась. Я тебе штаны поменяю, на руку посажу, дальше идем до автобуса, – папа сгибает локоть, изображая ношу. – Ты опя-ать!.. Других ползунков нет. Я тебя – домой обратно, к соседке, а сам – к матери. Прихожу, она: «А где Таня?». Я: «Так и так...» – развел руками. – «Другой раз обязательно с ней приходи». Ну, ладно... Однажды я тебя все-таки донес – весь рукав кительный мне обкакала. Добрались мы до матери, прошу вызвать «пани Веру». Она, конечно, к тебе тянется на руки взять, а ты ни с того ни с сего – за мою спину спряталась! Она тебе апельсин протягивает, а ты – апельсин хватать! – и снова за меня! Что тут мать... Разревелась! Ты, говорит, ей обо мне не рассказываешь! «Она забыла меня!» – и плачет...

Мама стоит у плиты и помешивает пельмени в кастрюле, гудящей и вот-вот готовой закипеть.

– Ну, – мама кладет на папину тарелку пельмень из второй порции, – я к ней – а она от меня. К отцу жметя... Пробуй, на!..

– Накладывай. Говорю, накладыва-ай! Готово, – папа едва не обжег нёбо. – И соль нормально. Больше воду не соли... Таня, язык покажи! Ты бы пореже пельмени в укус макала!

– Пап, еще чё-нибудь расскажи!

Пока в тарелках пусто, охота поговорить.

– А чё рассказать-то?

– Как вы с мамой до нас с Наташкой жили.

– В Числолакии? А как? Вера оставалась в Союзе, пока я служить начал во Френштате... Боялась рожать в Чехословакии. Напугал ее кто-то: «Там опа-асно! Происки антисоветчиков!». Я ей пишу: «Приезжай, Верунчик. Тут такие магазины. Сама увидишь»... Мне накладывай с горкой... Накладывай, накладывай!.. – папа снова макает пельмени в уксус и целиком глотает их. – Она приехала – я ее не встретил: срочно на полигон отправили. Поручил беременную жену Русанову, взводному. Вера зашла в квартиру...

– Ага, а там шаром покати... – Мама говорит так, будто все случилось только вчера. – Мебель казенная, комнатка маленькая, холодная! Легла я на солдатскую койку и давай реветь! Потом уже купила обогреватель...

– Я приехал... Ну, дальше ты родилась. Заболела почти сразу воспалением легких... Помню, мать тебя качает, а ты всё реवेशь и реवेशь не переставая. Она вся была измученная тобой. Я прихожу, беру на руки – на ладони помещалась! Во! – папа показывает открытую ладонь. – Ма-аленькая была! – и успокаиваешься вроде. Странно: у матери орешь, у меня – сопишь спокойно. Мать чуток отдыхает. Однажды всю ночь тебя укачивал. Вера дремлет слегка, а я по комнате хожу. Держу тебя, боюсь дернуться как-нибудь. Утром –

на полигон собираюсь, не спавши, а мать снова с тобой возится...

– Молодые были, глупые: Сергей – вчерашний курсант, мне – двадцать один год. Вот и застудили. Такой холод в квартире... – мама помолчала. – В больницу ложиться с тобой, трехмесячной, отказалась. Врачу говорю: «Я медсестра и сама дочку вылечу. Только рецепт напишите, чем колоть».

– Забавные были... Суксук, суксук. Пельмень на четыре части... Тамкист. «Снимите меня отсюда»!

– А сейчас? Большие уже.

Истории эти я знаю с раннего детства. Но каждый раз в рассказах родителей появляются новые детали, и каждую я ловлю, чтобы встроить в мозаику памяти. И так всегда – шаг за шагом, слово за словом. Но до сих пор, чем дальше удаляюсь от первых разрезанных на четыре части пельменей, тем тусклее становятся самостоятельные, не рассказанные впечатления раннего детства. Протираешь стекло, а оно еще больше запотевают.

Третья порция всегда подается с бульоном, съедается медленно и обычно с критикой в адрес теста, фарша, лепки, варки. Такое у нас бывает на сытый желудок.

– Ну, что, Сергей? – спрашивает мама. – А-а? Как?

– Хорошо, Века. Нету слов... Слов нету.

На этот раз папа не расположен к критике. Лицо его ословело, губы лоснятся.

– Наелись от пуза!

– А-а, девчонки? Довольны ваши душеньки?

Мы с сестрой не спеша доедаем. Наваристый после почти сотни пельменей бульон в конце нашего пира – как торжественный марш-прощание, когда под ноги бросают цветы, целуются и льют слезы. И хорошо, и грустно отчего-то...

К ДОМУ РЫБЫ

Рассказ

*Моя рыба, я построил для тебя дом,
я построил для тебя житницу...
<...> Пусть придут твои близкие,
Пусть придут твой отец и предки,
Пусть придут сыновья твоих братьев <...>
Кто войдет, – отдохнет: я приготовлю тебе
место,
В середине его я устрою тебе ложе.
Моя рыба, тех, кто лежит вокруг, никто
не потревожит,
Те, кто сидят вокруг, не затеют ссоры.*

Из шумерского текста¹

Сентябрь того года запомнился мне стойким запахом соленого леща.

Помня, что я с детства люблю вяленую рыбу, отец прислал его из Тульской области.

Подарок завернут в местную районную газету. Передо мной красуется не просто крупный и, к сожалению, пересоленный лещ, а готовый натюрморт. Рыбья морда со смотрящим вверх плоским зрачком, плотно сжатой в брезгли-

¹ Поэма «Дом рыбы», перевод М. Сиви́ла, из книги Крамера Сэмюэла «История начинается в Шумере».

вую гримасу пастью, зубы мелким гребнем так хороши, что я иду за красками и небольшим холстом. Контурсы чешуйчатой тушки с белесой щекой и иглами плавников набрасываю сажей, охрой, белилами. И газетные листы обозначаю, как есть: с желтыми краями и обрывками букв и заголовков – среди прочих прописываю крупным кеглем «... ВТОРНИК... ИЮЛЯ... Я САМА».

Остатки краски еще не стерлись на пальцах, а лец уже разобран до остроты остова. *Голова – мотыга, зубы – гребень, ее кости – ветви пихты, кожа на ее брюхе – кожаный мех для воды, мех Думузи*². И только голова рыба остается целой – и щеки оттенка прибрежной гальки на солнце, и ее наглая, самоуверенная ухмылка. Прощай, любимица Думузи. Газету сворачиваю в ком.

Очень пересолен. Без кружки пива есть такое невозможно.

Белила и охра мылом разъедаются легко, а вот сажа надолго впиталась в контурсы ногтей.

Мех Думузи... Думузи-пастух, зерно, ячмень и пиво...

Богиня Инанна наряжается в лучшие одежды и спускается в царство мертвых. Нитка лазуритовых камней рассыпается у третьего порога, разлетаются осколки неба по коридорам подземного дворца.

Пустое место без краев и горизонта. Падает снег, мерцают иглы снежинок.

² Там же.

У моей кровати сидит мама в своем стеганом голубом халате с белыми манжетами на широких рукавах. Она купила его после замужества и носила до первого отчетливого моего воспоминания о нем. «Видишь, как здесь красиво, – в голосе ее давняя, слишком хорошо знакомая печаль, – тебе понравится. Пойдем со мной, только не бери крупных денег, а захвати побольше мелочи». Мама раскрывает ладонь, а в ней – горсть мелкого сердолика, слишком яркого на фоне снега. «Смотри, что я насобираала для тебя, – улыбается она нежно. – Ты ведь любишь такие камушки». – «Хорошо, я быстро соберусь и захвачу немного денег», – встаю с кровати, чтобы взять из сумки кошелек. Но вспоминаю, что во рту сухо от соленого леща. Иду на кухню. Открываю холодильник, достаю полную бутылку минеральной воды, пью жадно из горла.

– Ну, проснись же! – слышу свой встревоженный голос.

Делая огромное усилие, отрываю от мокрой подушки тяжелую, полную ночных видений голову. Распрямляю чужую поджатую ногу и спускаю ее с дивана. Иду на кухню к холодильнику за бутылкой ледяной минералки. Пью из горла. Но не чувствую воды.

Мама и в последние два года жизни любила «денежки». Просила копеек, чтобы сложить в копилку. «Это мой капитал», – шутила она и уговаривала: «Ну, положи монеток, положи!».

Одеваюсь с закрытыми глазами. Снова у холодильника.

Вливаю в себя воду неистово, всем ртом.

– Проснись, проснись!

Тьфу! Все еще сплю. Подушка, мокрый комок, вопреки закону тяготения придавила мою голову снизу, оттуда, где был рожден сон. С еще большим трудом расстаюсь с постелью и омутом снов. Помню, что не только хочу пить, но и надеюсь успеть отдать маме деньги. В руках – сумка. В горле – сухой комок мелкого зерна. Открытая дверь холодильника морозит мокрое от пота тело.

Звонок телефона. Ругаюсь и откуда-то издалека чувствую, как болит чужая нога. Руки крепко сжимают комок подушки. Она растворяется в моей голове, и в этом блаженном слинии рождаются новые сны.

Снова звонит телефон. От внезапности пробуждения голова кружится, во рту – высохшее море, пустые меха.

– Таня, не разбудил? У меня две новости – одна хорошая, другая – не очень. В Хэйхе встретили замечательно, выставка прошла хорошо. Но мы продали ваши работы.

– Как продали? Они же едва высохли. Их же никто не видел!

– Понимаю. Вы и ценники не ставили. Но, знаете, этот художник Лу – коллекционер, он собирает русский авангард. Прицепился, и все тут. Продайте да продайте...

– Потому что мне и в голову не могло прийти, что их купят.

– Мы тоже не подумали. Но вот видите... Дебют – и сразу

нашли поклонника. Поздравляю. На самом деле, это не так плохо. Гонорар я передам в вашу редакцию. Там немного – всего по сто юаней за холст.

Одна – черной сажи, на белом блюде с овощами, задумчивая и строгая, с черепашьей пастью. Вторая – под деревом, прорисована желтой линией сквозь мрак, чешуя ее играет синим кобальтом, золотой и красной охрой.

Достаю минералку из холодильника. Вспоминаю, как, вынырнув на безводье яви из темной глубины сна, успела поймать обрывки разговора с мамой и даже рассмотреть камушки на ее тонкой ладони. Соль вытолкнула меня из глубокого забвения на берег, всколыхнула ил подземного царства, а вместе с ним – голубые одежды недавно ушедшей матери.

И, кажется, остались не заперты врата тайного мира, тонкая щель в них манит вернуться.

Снова и снова пуцу в глубокие воды сна рыбу стаю и пастуха с ними.

В кабинете верстки, на двери которого болтается пожелтевшая табличка «Телетайп», сталкиваюсь с начальником отдела.

– С коммерческим успехом тебя, – сухо проговаривает он и торопливо сует мне двух розовых Мао. – Где-то я слышал: нет ничего хуже, когда литераторы считают тебя художником, а художники – литератором.

Сдав материал в верстку, сбегая на улицу. Миную ржавые

гаражи, стоящие в лужах, дворы с песочницами, провисшие бельевые веревки, бараки с черными провалами распахнутых дверей в подъезды. Иду к улице Калинина. Здесь несет сыростью и креозотом.

А вообще настоящий Биробиджан пахнет осенними листьями. Сентябрьский каскад желто-красной, охряной и еще местами зеленой листвы дарят Биробиджану благородство старой бронзы, свойственной только городам с большой и сложной историей.

Город безмолвствует. И лишь изредка отзывается детским смехом, лаем собаки или электровозным гудком, от земли его тянет прелостью листвы, небо грязновато и обещает холодные дожди. Хочется написать что-нибудь грустное о том, что вопреки ярким и сильным мечтам так и не сбылось. Не было всего этого и прижилось лишь в закоулках романтического воображения, в более поздних беспокойных сновидениях, чьи изгибы напоминают короткие биробиджанские кварталы. Не сбылось, и ладно. Сойду с тротуара к питанной влагой земле, обниму замшелый тополиный стан, помнящий еще молодых и говорливых плотников с топорами и запах свежеструганных досок, сложенных в штабеля для постройки очередной двухэтажной временки, прижмусь крепко и вздохну глубоко-глубоко... Как звучит ствол старого тополя, какая музыка внутри него! Такое спокойное, гармоничное ларго можно слушать только в объятиях близкого человека.

Пошел дождь, шумный, освежающий воздух, тугой из-за лесных пожаров. По куполу зонта музыкальными пальцами стучат дождевые струи.

Березы увешаны немногими уже темно-желтыми листьями. Они настолько яркие, что трудно смотреть на них. Ветви ильмов – жженой сиены. Особенно красиво: черный сырой ствол, ветки и – листья стронциевые, набранные на кончик мастихина густо, жирно; земля тучная, дышащая, усыпанная пятнами лимонного кадмия и краплака. Осень живет интенсивно, в радости вдохновения, торопится и оттого пишет чисто, уверенно, не смешивая краски.

Пока я не знаю, что ищу в палитре сырого дерна, в этой верткой сороке, которая не желает входить в фокус фотоаппарата и пропадает в киновари кленовых листьев, и что чудится мне в этой тишине, прерываемой лишь изредка проезжающими машинами и перестуком дождевых капель. И почему думается так легко.

...потому что на дне каждого сна лежит Бог, – вспомнилось из Павича.



Придя домой, обедаю наспех, а затем вытаскиваю из пачки лист плотной желтой бумаги. Мну до тугого комка. Углы и сгибы плотны и охотно расправляются в ладонях в профиль Инанны. Нарисую ей густо подведенные сурьмой глаза: миндаль с ультрамариновыми – нет, со всеми оттенками павлиньего хвоста – переливами на крупном, но правильном

загорелом лице. Брови изогну. Кажется, вот-вот они разлетятся в стороны. Но их удержит нос, тонкий и длинноватый нос. Рот у Инанны почти всегда удивлен и вопрошает.

В оконное стекло снова ударили капли дождя – слезы тоскующей по своему Думузи в загробном мире Инанны. Расставаясь с мужем, возвращает она людям осень, все богатства, все краски, словно снова снимает одежды у семи подземных врат.

Я всегда боялась потерять мать. Этот страх пришел еще в ту пору, когда она носила голубой стеганный халат, но едва ли оставался со мной в то белое декабрьское утро, что окрасило тоскливое мамино небытие в цвет чистого снега и стерло надолго мою любовь к ярким краскам.

Я родилась в 1977 году в Чехословакии, в небольшом городке Островского района. Подобно большинству старинных местечек Френштат под Родгоштем застраивался вокруг площади с ратушей и только значительно позднее свободно вытянулся вдоль двух рек, обрамивших город, словно скобы, до самого южной его окраины, до Мартинского района. Здесь, у самого подножия горы Родгошт, местные власти построили казармы. А спустя 30 лет на этом месте расположились воинские части Советской Армии.

Отсюда, в серых панельных пятиэтажках, и началось мое детство. Незамысловатое, универсальное, одно на всех тех моих ровесников, кому *выпало в империи родиться*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.